

ДО СИДНЕЯ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Жизнь проходит, а я всё ещё не был в Австралии! Я не был во многих других местах, но за Австралию почему-то особенно обидно.

С каждым днём всё больше глупостей слышно из телевизора, но кто и когда сказал, что оттуда должны сообщать другое? Поменяйте взгляд на вещи, и вещи встанут на свои места. А что касается Австралии... За собственным благополучием никто не слышит сигнала о неблагополучии кого-то. Неблагополучии точно в таком же объёме. Или больше. Или меньше. И совсем не обязательно этот кто-то пьян и подзаборен. Словечко из стихотворения моей любимой...

Нет, про Австралию вспомнилось неспроста. Двор наш – пространство между шестью пятиэтажными домами – занимал территорию немалую. Посреди него огромным и чужим островом помещалась усадьба деда Сабурова. Кто-то, отдалённо знавший про географию, и назвал усадьбу, обнесённую корявым забором, Австралией, намекая, очевидно, на одинокость её посреди чужого мира. Такая дикость – клочки частного сектора среди новостроек в самом центре города – в те пятидесятые да и ещё и в начале шестидесятых не была редкостью. Эти усадьбы теснили, выдавливали из жизни всем миром – от городских властей до дворовой шпаны, к отряду которой примыкал почти всякий достигший двенадцатилетнего возраста.

Между забором деда и общежитием котельного завода, тоже пятиэтажкой, царствовал огромный тополь, метрах в пяти над землёй, разошедшийся в три ствола. Между стволами был сооружён шалаш, и там, в этом боевом штабе местного воинства, разрабатывались планы набегов на дедово хозяйство. Не сама же дворовая мелкота придумала, кто-то из взрослых подсказал, кивнув на усадьбу – кулак. А раз так – наше дело правое, победа будет за нами, и подрастающая братва усердствовала в сотворении козней деду. Была у него корова, пара свиней, куры, огород – как я немного позднее выяснил – обычное деревенское хозяйство. Может, это и не давало покоя горожанам в первом, втором, от силы третьем поколении? Во всяком случае, не помню, чтобы кто-то из соседей, высказал патриархальный трепет, вздрогнул ноздрями, когда от дедова подворья тянуло запахом сена и скотского присутствия.

Моя мать родом из Питера, как и многие котельщики, перевезённые сюда вместе с заводом Ильича после прорыва блокады. Отец – из белорусского города Бобруйск, он приехал на завод случайно, занесло послевоенным вольным ветром.

– Герка! – кричит мать из нашего окна на пятом этаже. – Прекрати материться!

Матюги и треск сабуровского малинника, стихают, следом Герка кричит из темноты:

– А ваш Толька тоже матерится!

Это, понятное дело, про меня. Суднишниковы жили прямо под нами, стало быть, окна выходили туда же, куда и наши. Только Суднишниковым родителям дела не было ни до Геркиного мата, ни до самого Герки, одного из пятерых сыновей, которых все звали оторва первый, оторва второй и так далее, по старшинству.

Дед Сабуров жил вдвоём с бабкой. Та, в отличие от хозяина, в войнах с дворовой шпаной не участвовала, вообще была тихой, и мы даже думали – немой. Никто слова от неё не слышал. Однажды видели, как плачет, но тоже как-то по-особенному тихо. Герка привязал корову к забору, зацепив верёвку за рог, и изо всей силы хлестанул животину кленовым прутом. Та ломанулась прочь и оставила рог на верёвке. Бабка приложила к ране чистую тряпицу, обняла кормилицу и заплакала. Дворовый народец торжествовал, завидуя Геркиной удали.

Мы учились с Геркой в одном классе. Я был скучный пятёрочник и, помимо школы, ходил в две спортивные секции и авиамодельный кружок, Герка – двоечник и хулиган, большую часть времени, в том числе школьного, проводивший во дворе. С нами училась Рита Сабурова, в которую Герка был безумно влюблён. Рита приходилась внучкой деду-кулаку, их дом, тоже частный, стоял неподалёку от нашего двора и сильно отличался от дедовой покосившейся

хибары. Это был каменный, оштукатуренный особняк за глухим высоченным забором, жили в нём, судя по всему, люди непростые, очевидно, какое-то начальство. По Рите это было видно – её школьная форма выделялась особенным фасоном и качеством, накрахмаленные фартучки и пышные банты делали её нарядной в самый будничный день. Свою любовь Герка выражал обыкновенно – лупил всякого, кто посмеет подойти к Рите. Меня почему-то не трогал, может, из-за того, что мой отец поколачивал его родителя, а тот, в свою очередь, дня не проходило, чтобы не порол Герку. Силу у нас уважали. Стычки старшего поколения происходили, в основном, по праздникам, когда Геркин отец поднимался к нам с разборками. Шумим, дескать. Это было смешно, потому как у нас гуляли только по красным числам, а у Герки – каждый день. Другое дело, у нас пели под отцовский баян, плясали, а внизу ругались, били друг другу лица и посуду, ломали мебель. Наверно, нижним было обидно, что у них так, а не этак.

Я сидел за одной партой со Светкой Евдокимовой, которая ещё в первом классе призналась мне в любви. Иногда я пересаживался к Рите, сидевшей почему-то в одиночестве, и, тихо смущаясь, пытался залезть к ней под юбку. Она отбивалась, а Светка ёрзала на своём месте и метала в нас испепеляющие взгляды. В такие дни Герка лупил по несколько претендентов на Ритино сердце.

Герка среди нас был переростком – и по возрасту, и по росту, и по сложению. К шестому классу у него уже вовсю чернели усы, и физрук Николай Александрович советовал ему начать бриться. Взрослые говорили, будто у него не всё в порядке с умственным развитием, но это, мы так думали, касалось только уроков. Хотя-кто знает... В подвале общежития была женская душевая, и мы все подглядывали в замызганные зарешёченные оконца, для чего надо было припасть к самой земле. Комендант ходил по квартирам, жаловался родителям на всех нас по очереди. Битые, мы на некоторое время оставляли порочное занятие, только Герку вразумить было невозможно, он как-то даже кинулся драться с комендантом, чтобы тот не мешал подсматривать. Геркина озабоченность смущала даже нас, озабоченных, может быть, не меньше.

Жить после середины 50-х мы стали лучше, посытней. Если сначала форсом было выйти на улицу с куском хлеба, посыпанным сахаром, а то и сахаром по маслу, то теперь в одной руке булка, в другой – колбаса. Мать моя работала бухгалтером всё на том же котельном заводе, отец мастером, потом заместителем начальника цеха. Переместиться по служебной лестнице выше ему не позволяло образование, он даже школу толком не закончил.

У нас, первых во всём подъезде, появился телевизор, КВН с крохотным экраном, и соседи, от первого до пятого этажей ходили к нам на просмотры, со своими стульями конечно. Геркин отец не ходил, был он человеком немстительным, но обиды не забывал. Где-то в эту же пору, помню, всем подъездом затаскивали к нашим соседям напротив пианино, дочку хозяев записали в музыкальную школу. Мой отец, игравший по праздникам на баяне,

откинул лаковую крышку и заиграл вальс «Амурские волны»... Потом мне приходилось видеть его с гитарой в руках, с балалайкой, но так и не довелось узнать, каким образом он научился играть на том, на этом? Дома у него отродясь не было, всю жизнь скитался бродягой, пока на войну не попал. Какие уж там могли быть уроки музыки!

Дед Сабуров терпел всё больший урон от беспощадных дворовых оглоедов. Однако не помню, чтобы хоть раз в дело вмешалась милиция. Старый хозяин мужественно держал оборону в одиночку. Немного позднее я понял, почему он не жаловался и не ждал ни от кого сочувствия. Наши родители, как и мы, не знавшие деревни, получали уроки истории, на которых владельцы коровы и пары свиней, названные кулаками, должны были по решению верховной власти отправляться продолжать свою жизнь далеко на Севере.

Никогда не видел, чтобы Рита приходила к деду, это было тем более странно, что жили они в паре сотен метров друг от друга. Судя по всему, Ритин отец и вправду был большим начальником, наверно, поэтому семья не общалась с дедом, этим чужим, непонятным наростом на здоровом теле обновляющегося города и всей новой жизни, которая, по заверениям тогдашних руководителей государства, в скором будущем станет раем на нашей благословенной земле.

А Рита росла и расцветала, она уже была красавицей со сформировавшейся фигурой, тогда как другие наши одноклассницы всё ещё смотрелись гадкими утятами. Я несколько раз провожал её домой, зная, что Герка крадётся следом, прячась за дворовыми деревьями. К тому времени я уже перестал хватать Риту за коленки и пытаться пробраться выше, как-то само собой это занятие перешло в разряд ненужных. Но вот почему мы ни разу не поцеловались – до сих пор понять не могу. Думаю, она не была против, но когда мы стояли друг перед другом, во взгляде её сквозила непонятная взрослость, не подпускающая к ней близко. Ни у кого больше не видел я таких глаз – прозрачных, нежно тронутых молочной зеленью – как минерал хризолит. Много позднее я узнал, что хризолит – это по гороскопу мой камень... Потом я вызывал из дома Светку, жившую по соседству, и мы целовались до кровавых трещин на губах.

Моя созревающая плоть не давала покоя мыслям, которые всё время крутились вокруг женского тела, благо, подвальный женский душ предоставил для того богатую натуру. Или наоборот, мысли мои грешные чрезмерно бередили плоть? Попробуй ответить, это вопрос из разряда – что появилось раньше, курица или яйцо? Жили мы в двухкомнатной квартире с соседями, семейной парой – Абрамом и Любой. Двухметровый еврей с застенчивыми глазами за толстыми стёклами очков – говорили, он был талантливым инженером. Кем была его жена – никто не знал. Он стеснялся её скандального нрава, замашек коммунального ратника, визгливого голоса и прятался в своей комнате, едва Люба начинала кухонные разборки. Повод она находила всегда. У нас были отдельные электрические счётчики, и соседка додумалась мылом приклеивать волосок на

входные отверстия розеток – контроль за энергетической автономией. Часто волосок отваливался в силу естественных причин, но для Любы таковых не существовало. Отец мой, человек богатырского сложения, в дни скандалов обещал отлупить тщедушного инженера, поскольку тот не в силах укротить свою воинственную жену. Абрам вздыхал беспомощно, и взгляд его говорил: что ж, бейте. Это было правильно, отец никогда не ударил бы беззащитного.

Потом Люба родила, и в нашей переполненной квартире появились ещё двое – младенец и кормилица. Через месяц после рождения ребёнка Люба сбежала от него на работу. Кормилицу звали Степанидой, была она крепкой деревенской девахой с необъятными грудями, крепкими ногами. По дому она ходила в одном и том же вечно распахнутом халате. Она сводила меня с ума: каждый раз встречаясь в коридоре или на кухне, будто бы невзначай притрагивалась к моим штанам, где обретался предмет мальчишеского беспокойства. Стерва! В своих горячечных видениях я насиловал её, опрокинув на пол в коридоре! И... Совестно признаться, снова и снова выходил из нашей комнаты, с нетерпением ожидая её появления, этого её бесстыдного жеста и понимающей усмешки совратительницы.

Проклятые и сладкие томления плоти! Я уже понимал, что переживать их приходится не только мне и моим сверстникам. В шестнадцатиметровой комнате мы жили вчетвером. У старшей сестры уже был парень, и я не сомневался, что отношения их далеки от того, что родители, успокаивая себя, называли дружбой. Как-то они отправились компанией за город с ночёвкой в палатках и взяли меня с собой. Надо отдать им должное, ребята умели веселиться, даже мне, чужому и чересчур юному, скучно не было. Они умели петь туристские песни, резвились, как дети, прыгали с обрыва в речку – кто дальше... А между делом парами занырявали в палатки, не дожидаясь окончания дня.

Наташка, лучшая подруга сестры, то и дело норовила прижаться ко мне, изображая из себя мужчину, овладевающего любовницей. Я тогда не мог понять, зачем взрослым, искушённым людям дразнить таким образом малолеток? Уж взяли бы затащили к себе в постель или куда ещё, в ту же палатку, например, и показали что к чему на самом деле. Видимо, существует какая-то грань, переступить которую они считают для себя невозможным. Ещё и потому я делал вывод, что все взрослые – идиоты: в своих играх они, точно дети, не думают о последствиях.

И вот, наконец, деда Сабурова снесли. Мы видели, как уводили корову со двора, слышали, как визжали свиньи под ножом, и не придали этому особого значения, хотя время для заготовки мяса было неурочное. Потом дед несколько вечеров кряду ходил по периметру вдоль своего забора, точно вымерял, сколько ему земли отпущено. Дом не перевозили, дворовые постройки не разбирали, как это делается для дальнейшей пользы. Всё раскатали бульдозером, обратили в мусор и вывезли на свалку. День – и на месте усадьбы со стайками, сараем, дровяником, садовыми посадками и огородом образовалась ровная площадка.

Ещё несколько дней – и там же вырыли котлован, из чего мы заключили, что в нашем дворе будет построен ещё один дом. Из всех дедовых насаждений в живых осталась старая яблоня, которая давно уже не плодоносила. Она стояла чуть поодаль от большого тополя, очевидно, близкого ей по возрасту, и смотрелась сиротой.

В те дни мне пришла в голову мысль, что и Ритин дом, стоящий неподалеку в ряду ещё нескольких уцелевших среди новостроек, скоро будет снесён. Куда девались дед с бабкой – так никто из нас и не узнал. Да и не узнавали. Отчего-то любопытство по тому или иному поводу просыпается в нас с большим опозданием. Я и вправду хотел бы сейчас узнать, что случилось с последними крестьянами Октябрьской площади города Барнаула. Увы, спросить уже не у кого.

Котлован сначала превратился в общедворовую помойку, а весной заполнился талой водой и стал похож на озеро. Как-то мать рассказала отцу местную новость, якобы в котловане забили ключи.

– Во-во, – молвил он с обычной своей невесёлой усмешкой. – Запустим рыбу и по вечерам будем сидеть с удочками.

Мы рассекали водные просторы на плотах, связанных из всякого мусора, даже устраивали морские бои. Мало кто из нас не падал в ледяную воду, бывало с некоторыми – и не по одному разу на дню. Биты за это мы были нещадно. Первая часть кары – за порченную одежду и обувь, вторая – профилактика, ибо родительский страх рождался не на пустом месте: котлован был нешуточно глубок, утонуть в нём любой мог запросто. Несколько мальчишек, накупавшись, схватили воспаление лёгких, среди них был и я. Володька по прозвищу Чихал (вот ведь ирония судьбы!) простудился так, что не отошёл от болезни до конца своей жизни, и умер совсем молодым. Володька был одним из самых яростных громил дедова хозяйства, и в какой-то момент я подумал, что его болезнь, наши саднящие от порки задницы – месть бывшей сабуровской земли.

Соседи наконец-то съехали, и теперь вся квартира была в нашем распоряжении. Меня отдали в музыкальную школу учиться играть на баяне, по резонам отца – чтобы я стал грамотным музыкантом, не то, что он, самоучка, не знавший нот. Для матери главное – чтобы не болтался на улице после уроков. Я согласился, потому как музыке в той же школе училась Рита. Мой преподаватель, едва обучив меня азам, понял: трудиться над постижением исполнительского мастерства я не буду, и дал мне программу выпускного экзамена.

– Ковыряй! – сказал он с отсутствием надежды в голосе. – Может, за оставшиеся три года доковыряешь.

Летом меня отправляли к дедам в деревню. Надо полагать, материны родителями были первыми дачниками в этом населённом пункте, расположенном

в сорока минутах езды на пригородном поезде от города. Сейчас дачи погребли под собой всю деревню, а тогда местные жители знать не знали и слова-то такого – дача. Дед же, наученный ленинградской блокадой, схватился за землю, зная, что она пропасть не даст.

Отец строго наказывал старикам, чтобы я каждый день тренировался на инструменте.

– Пускай вот это играет обязательно, – стучал он пальцем по нотной тетради.

Баян был, кстати, изготовлен на ленинградской фабрике музыкальных инструментов, голосистый, с каким-то редким тембровым окрасом. Дед выставлял табурет посреди двора, гордо оглядывал пространство и командовал:

– Играй!

Я на слух разучил любимую дедову «Вот мчится тройка почтовая» и без устали наяривал эту несложную мелодию. Дед уходил в огород, чтобы не показывать слёзы, а вся деревня будто замирала, вслушиваясь в протяжные звуки грустной старинной песни.

Жить мы стали заметно лучше, сытнее и свободнее в расходах. В квартире появился дорогой немецкий мебельный гарнитур, отец стал ездить на курорты лечить свой испорченный беспризорной жизнью и войной кишечник. Но, странное дело, радости в доме не прибавлялось. Не умевшие отдыхать родители продолжали работать сверхурочно, уставали и дома почти не разговаривали друг с другом. Я был свидетелем нескольких отцовских вспышек, когда он вдребезги разбивал о кухонный стол материны бухгалтерские счёты, но скандалы повторялись, а ничего не менялось. Костяшки счёт стучали по ночам, отец засыпал с газетой на диване, в редкие выходные мог пролежать таким образом весь день. У родителей не было друзей, ни с кем они не водили компанию. По праздникам ходили к родне, крепко выпивали. Одно отличало наше застолье от соседских – там, напившись и насытившись, начинали драться, а у нас пели песни под отцовский баян.

Герка где-то потерялся, не дойдя с нами даже до седьмого класса. Во дворе он тоже не появлялся, и кто-то запустил слухок, будто он попал в колонию для несовершеннолетних. По другой версии родители перевезли его из густонаселённой своей квартиры к родственникам на окраину города, и он поступил на учёбу в какое-то техническое училище.

Пока мы переходили из класса в класс начальной школы, она, школа наша, успела побыть семилеткой, потом одиннадцатилеткой, затем восьмилеткой. Нам тогда казалось, что все школьные реформы испытывают именно на нас. Наивные, что-то сказали бы мы по этому поводу сегодня!

Но вот и подошёл к концу восьмой. Перед самым выпускным вечером я подстригся наголо – последний протест против вечного гонения на мой стилижий кок. Противу торжественных правил надел чёрную рубашку, а вместо нормального галстука нацепил шнурок с обезьяньей головой на месте узла и металлическими наконечниками. Директриса, увидев меня, сделала кислое лицо и громко отдала распоряжение физруку, чтобы он проверил наши парты на предмет спрятанного там алкоголя. Физруку до чёртиков надоели мы, надоела директриса, и он вместо того, чтобы повиноваться, отправился в свою каморку пить в одиночестве.

Не помню того вечера, потому что большее время провёл, нарезая круги по школьному двору. Что к чему – сам до сих пор не знаю. Танцевать не умел и не хотел учиться, болтать с одноклассниками, которые теперь уже для меня никто, тоже не хотелось. Самое сильное ощущение – каждый каждому чужой, будто и не было этих восьми лет. Все наши дружно решили идти дальше учиться в одну и ту же школу, я нарочно записался в другую.

В эту ночь Рита со всей своей семьёй уезжала в Ташкент, насовсем. Не могу сказать, что это обстоятельство сильно меня огорчало. Ну, уезжает и что с того? Я, скорее всего, тоже куда-нибудь уеду... И ждать окончания школы не стану. Было грустно, однако это настроение я не связывал с отъездом Риты, как-то чувствительно оглушила вдруг образовавшаяся пустота – вокруг меня и вообще.

Мы отправились на вокзал всем классом. Я уж, было, подумывал сбежать, но, сам не знаю почему, остался. Девчонки шмыгали носами, родители Риты как-то смущённо переминались с ноги на ногу возле вагонных дверей. И тут я вспомнил про деда Сабурова: если уезжает вся семья, то и дед с бабкой тоже должны быть где-то здесь. Однако их не было. Ни среди уезжающих, ни в толпе провожавших. Светка тоже не пошла с нами, она сидела в опустевшем классе и размазывала слёзы по щекам.

Наступил момент, когда все слова прощания уже сказаны, и время становится лишним, избыточным. И опять – вокруг чужие люди, отторгнутые друг от друга, как это ни странно, годами тесного соседства. Каждый чувствует неудобство, неловкость, вину за своё неумение справиться с этими долгими, ненужными минутами. И в голове у всех одно: скорей же, скорей!

Ко мне подошла Рита. Какая она взрослая! Будто я увидел её сейчас впервые. Незнакомая, далёкая, чужая... Она не уезжает, нет, она только что приехала из неведомых краёв и понимает, что очутилась неведомо где, она прожила уже несколько жизней – свою, умноженную на число нас, её одноклассников. В её хризолитовых глазах отражаются перронные огни и незнакомое далёко.

– Приезжай, – сказала она и притронулась к моей стриженной голове. – Я выйду за тебя замуж.

Ровно через семь лет на мой служебный адрес пришла телеграмма из Ташкента. «Приезжай. В твоём распоряжении три месяца».

Никуда я не поехал и потом каким-то маленьким осколочком себя жалел об этом, как жалеет большинство о многом, что могло бы случиться, но не произошло и потому не принесло разочарований.

Никого из людей, стоящих в ту ночь на перроне, я больше не видел. Из одноклассников встречаю только Светку. Редко и случайно, на улице. Может, и другие пройдут когда мимо, но я их не узнаю. Глядя на свои фотографии той далёкой поры, не узнаю и сам себя. Постарел. Все постарели. Светка рассказала, что Рита стала доктором физико-математических наук. Кто бы сомневался! У неё узбекская фамилия и куча детей. У самой Светки тоже семья, но она её не видит, потому что вот уже третий десяток лет сидит у постели больного отца. В это трудно поверить, но уж такая она и есть – ей для себя ничего не надо.

За время, прошедшее после окончания нами школы, мир изменился так, что я взираю на себя и своих сверстников, как на нечто доисторическое. Мои многочисленные попытки приспособиться к новой жизни одна за другой терпели неудачу, и однажды я подумал, что жить в этом мире попросту не имею права.

Как-то в руки мне попала бумага с требованиями для переезжающих на постоянное место жительства в Австралию. Возраст, язык, профессия – я не подходил ни по одному пункту. Впрочем, известно, Австралия – самая трудная для эмиграции страна. Потом познакомился с русским австралийцем, увезённым родителями из России в юном возрасте. Он стал известным певцом, но сюда приехал не на гастроли, а всего лишь повидать родину. Поёт и вправду хорошо – арии из опер, романсы, по-русски шпарит без запиночки. И пьёт по-русски. И плачет пьяный, жалея себя, оторванного от родины.

– А мне жалко родину, – сказал я ему и предложил поменяться. Он согласился. Мы сидели у него в номере и пьяные играли в подкидного дурака, решив, что просто так поменяться паспортами – это скучно.

– Давай выиграем, – предложил он, – ты у меня, я у тебя...

Так не бывает, – подумал я и, в конце концов, выиграл всё, что у него было – паспорт, доллары, часы. Я с сожалением смотрел на кучу этого добра, использовать которое мне не придётся. Как много даётся нам всего лишь для того, чтобы некоторое время подержать в руках!

Я до сих пор хожу в наш старый двор. Это удивительно, однако почти никого из прежних жителей не осталось. Иные умерли, большинство поразъехалось. Уехали и мои родители, которых в этом городе ничто не держало, уехала сестра. Наверно, это куда правильнее, чем всё время жить в городе, где родился, учился, вырослел... Слишком разительны перемены вокруг тебя и зачастую – болезненны. Чересчур безобразно старение знакомых лиц. Старость вообще малопривлекательна, а когда она пожирает кого-то на твоих глазах – это действует удручающе. Ощущение – ты живёшь среди множества зеркал, и великое количество их лишь усугубляет ситуацию: в какое ни посмотри – видишь одно и то же.

На месте котлована сделали спортивную площадку, и некоторое время она была лучшей в городе. Сейчас на ней всё запущено, разорено. Не удивлюсь, если в скором времени здесь снова появится котлован, а следом и новое строение. Такие места в центре города нынче подолгу не пустуют. На месте Ритиной усадьбы пятиэтажный дом с молочным магазином и кучей всяких офисов на первом этаже.

По-прежнему перед окнами общежития возвышается тополь с развилкой, жива и старая яблоня, оставшаяся от деда Сабурова. Несколько поколений, выросших в нашем дворе, делали на стволах затеси в виде матерков и инициалов любимых девчонок. Их затачивало корой, а вернее – самим временем. Оставались шрамы. Все стволы сплошь в шрамах. Эх ты, человек! – вздыхают оживающие по весне кроны. – Ты уходишь, за тобой приходят другие – и все со старыми глупостями. А нам ещё жить да жить...

Я попросил сына выяснить по Интернету, сколько от нас до Австралии.

– Нигде не сказано, – сообщил он, – вот от Москвы до Сиднея – пожалуйста, четырнадцать с половиной тысяч километров.

Ну, а от нас до Москвы – около трёх с половиной. Стало быть... Арифметика простая. Зачем мне надо было это узнавать? Понятия не имею!